

ВОСПОМИНАНИЯ
О СЕРЕБРЯНОМ
ВЕКЕ



Составитель,
автор предисловия и комментариев
Вадим Крейд

ВОСПОМИНАНИЯ О СЕРЕБРЯНОМ ВЕКЕ



Москва
Издательство
«Республика»
1993

ББК 84 Р6

В77

Художник *И. Иванова*

Рецензент *Евг. Витковский*

Воспоминания о серебряном веке / Сост.,
В77 авт. предисл. и коммент. В. Крейд.— М.: Республика,
1993.— 559 с.

ISBN 5—250—02030—5

Атмосфера ренессансного русского серебряного века (конец XIX—начало XX столетия), отмеченная необыкновенным взлетом духовности и культуры, воссоздана в предлагаемой читателю книге. Авторы воспоминаний о Бальмонте, Сологубе, Блоке, Андрее Белом, Гумилеве, Волошине, многих других блистательных людях отечественного ренессанса — сами творцы или очевидцы этой эпохи — вынуждены были покинуть родину после революции. Большая часть мемуаров, собранных Вадимом Крейдом, профессором славистики Айовского университета (США), публикуется в России впервые.

В $\frac{0301080000-005}{079(02)-93}$ 168—93

ББК 84Р6

ISBN 5—250—02030—5

© Издательство «Республика», 1993



Ариадна Тыркова-Вильямс

ТЕНИ МИНУВШЕГО ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ

Литературные мои встречи и впечатления распадаются во времени на три ступени. В раннюю пору моей жизни я видела лица, слышала голоса писателей, которых в учебниках зовут реалистами, а некоторых из них и классиками. Позже я знала их учеников и последователей. Еще позже встречала их эстетических противников, тех новаторов, которых одни ругали декадентами, другие почтительно величали символистами. Я не собираюсь распределять их по школам. Я хочу воскресить мои живые впечатления. Улыбка, выражение глаз, звук голоса, случайно брошенное слово помогают подметить то неповторимое, единственное, что есть в каждом человеке, особенно в художнике.

Мои встречи с литераторами начались рано. Первый писатель, которого я увидела, был Достоевский. Но назвать это встречей нельзя. Мне было лет восемь. Моя мать, поощрявшая мою раннюю склонность к чтению, повела меня в Соляной Городок на детское утро.

— Пойдем. Я покажу тебе большого писателя,— сказала она.

Имя Достоевского не действовало на мое детское воображение. Но слово «писатель» волновало. Я уже знала наизусть много стихов: «Цыган», «Демона», «Евгения Онегина». Достоевский читал «Мальчик у Христа на елке». Электричества еще не было. На эстраде была полутьма, придававшая чтению таинственный вид сказочника. Я запомнила звук его глуховатого голоса. Это, пожалуй, и все, что осталось в памяти. Мнится мне, что запомнилось и его наклоненное над книгой бледное, изможденное лицо, слабо освещенное двумя свечами, стоявшими на столике. Но, может быть, раннее впечатление слилось позже с портретами Достоевского. Когда мне много лет спустя приходилось говорить с той же платформы в Соляном Городке, печальное лицо Достоевского иногда проносилось передо мной.

Подростком видела я Гончарова, Гаршина, Глеба Успенского. Позже, по поручению брата, была у Вл. Соловьева. Аркадий был в ссылке, в Шуше, куда позже был сослан Ленин.

Мой брат перевел с французского учебник психологии, списался с Вл. Соловьевым и по его просьбе прислал ему рукопись. Комната Вл. Соловьева была завалена книгами и рукописями, в которых безвозвратно потонул перевод моего брата. Философ был этим смущен, сконфужен и, стараясь загладить свой грех, принял меня очень приветливо.

Жил он на Исаакиевской площади, в гостинице «Англия». В большой комнате было пыльно, беспорядочно. Сквозь открытую дверь виднелась другая комната, по-видимому спальня, где царил еще больший беспорядок. Настоящее логовище холостяка. В старом, потрепанном пальто, из-под которого виднелась мягкая рубашка, полуприкрытая теплым шарфом, непричесанный, бородатый, Соловьев не мог не поразить меня своим видом, неряшливым и, несмотря на это, барственным и значительным. Это был очень красивый человек. У него была голова пророка. Длинные, полуседые волосы, бледное, выразительное лицо, глубоко запавшие, горячие глаза — я не могла не залюбоваться им. Но мне было лет двадцать. Философских книг я не читала, чудесных стихов Соловьева не знала. По молодости и по невежеству я только смутно подозревала, что стою перед человеком необыкновенным. Но подойти ближе, стать послушной ученицей, посидеть у его ног я не сумела.

Я вообще не умела этого делать, не умела искать духовных учителей. Слишком долго не понимала, как они нужны. Не знаю, мой ли это недостаток или общерусский, вернее, общеинтеллигентский. Народ в России умел находить наставников. Ну а мы, умники, думали, что надо набираться мудрости не от живых людей, а от книг. Как-то раз изучавший Россию эдинбургский профессор Шарль Саролеа, автор нескольких очень дельных книг о России, в один из своих приездов в Петербург сказал мне: *Vous autres, russes, vous n'avez pas la base de vénération. C'est très dangereux...*¹

Я только позже поняла верность его замечания. Но случилось и мне переживать волнующее чувство преклонения. Так было, когда кн. Д. И. Шаховской возил меня в Ясную Поляну. Мы вошли в переднюю. Лакей поднялся во второй этаж доложить, и вдруг на верхней площадке лестницы появился длиннородый старик с некрасивым, мужицким лицом. Два дня провела я у него в гостях в Ясной Поляне, и с каждый часом во мне крепло и нарастало ощущение его необычности. Его превосходства.

Еще более волнующий, незабываемый след оставил во мне его духовный противник, отец Иоанн Кронштадтский. К несчастью, я, как и при встрече с Соловьевым, не поняла, даже не постаралась понять, почему присутствие о. Иоанна меня так волнует, какая благодатная сила струится из его глаз. В те времена для меня была яснее, ощутительнее магия Толстого

и его творчества. Из живых писателей один Толстой заставил меня так внятно ощутить эту магию. Сходное, но несравненно менее покоряющее ощущение исключительности вызывал во мне только Александр Блок.

Когда я вошла в общественную жизнь, политические волнения и связанные с ними события, как общерусские, так и в моей отдельной, личной жизни, на время заслонили от меня чисто литературные интересы. Революционная волна принесла народное представительство. То, что происходило в Таврическом дворце и вокруг него, тоже ведь составляет целую поэму, напоминающую Шекспира, а порой и Гоголя, чего мы тогда не сознавали. Но мало-помалу политическая проза вступала в свои права. Революция, с ее эксцессами, утопиями, безумием, преступлениями, надеждами, высокими взлетами и низкими падениями, понемногу угасала, отживала. Действенных революционеров было все меньше видно и слышно. Одни погибли, другие были в ссылке, в тюрьме, бежали за границу, притаились. Многие изменились. Изменились и те, кто им помогал, сочувствовал, ими восторгался. Жизнь налаживалась. Перед теми, кто хотел строить, а не разрушать, открывалось все больше возможностей. Общее благосостояние росло, ускорился темп и хозяйственной и умственной жизни. Россия вошла в полосу небывалого расцвета. Хотя тогда мало кто отдавал себе в этом отчет. После японской войны и революции 1905 г. Россия спешила использовать новые условия, кипела работой, не шла, а мчалась вперед. Но интеллигенты продолжали ныть, брюзжать, бранить русские порядки, скучали без революционной прыгучности. Вчерашние попутчики и пособники революции испытывали чувство пустоты. Чтобы ее заполнить, некоторые из них сменили прежнюю игру в бунт на игру биржевую или карточную, которая шла в новых клубах, носивших громкое название художественных.

Побывали и мы с Вильямсом в одном из них. Он помещался на Литейной, против Тимеоновской, в построенном при Екатерине особняке князей Юсуповых. Дом давно стоял необитаемый. На огромные зеркальные окна время навело перламутровые отливы. Тускло, пренебрежительно, точно меркнувшие глаза знатной старухи, смотрели они на прохожих, на соседей, на посетителей. Дом был облицован крупными, гранитными плитами. Вокруг тяжелых, высоких дубовых дверей виднелись каменные украшения. Барственный особняк угрюмо выделялся среди обступавших его более новых домов. Нашлись юркие предприниматели, которые превратили небольшой дворец в доходный клуб, точнее сказать, в игорный дом, где по ночам, вокруг лото и карточных столов, толпились игроки. Говорили, что в задних комнатах идет тайная игра в запретную рулетку. Многие приходили в Юсуповский особняк просто из любопыт-

ства, полюбоваться на старину. С обтянутых тяжелым штофом стен кавалеры и дамы в нарядах XVIII века смотрели на развалившихся в креслах разночинцев, которых старые хозяева не пустили бы дальше прихожей. В просторных покоях царила призрачная тусклость. Хрустальные люстры, похожие на те, что блестели под высокими потолками Таврического дворца, висели так высоко, что гости бродили в полусумерках. Ходила легенда, что в этом доме умерла статс-дама Великой императрицы, с которой Пушкин писал Пиковую даму, что по ночам она бродит по своему дворцу. Все кругом напоминало о пышном прошлом, но на гостях лежала печать опрошенности XX века.

Нам с Вильямсом понравились обтянутые шелком стены, ковры, кресла, портреты, но не посетители. В карты мы с ним не играли, только посмотрели, как другие играют, как вокруг игорных столов волнуются те, кого еще недавно мы видели и слышали на митингах, где они волновались, бросая в толпу подстрекающие возгласы:

— Долой! Долой! Углубляйте революцию!

Теперь вчерашние попутчики революции искали в особняке Пиковой дамы, у зеленого стола, новых возбуждений, новой остроты. Это было угрюмое зрелище. Бурный прилив, отбегая, оставляет после себя мутную пену. Все же эта муть понемногу отстаивалась, и жизнь принимала все более нормальное течение.

По мере того как политика сосредоточивалась в Государственной думе и от разговоров и буйных споров переходила в будничную практическую парламентскую работу, все кругом становилось степеннее. Только в искусстве эта общая устойчивость не отражалась. Было что-то неладное, нездоровое в русской литературе начала века. Подготавливая публичные лекции о тогдашних писателях, пристальнее вдумываясь в их прозу и стихи, я была поражена зияющей пустотой, моральным нигилизмом наиболее талантливых поэтов. Форма, звук стиха, выбор слов — все было изысканно, подкупало мастерством. Но это был блестящий убор, прикрывавший метание опустошенных душ.

По исконной, из дали времен идущей русской потребности упиваться стихами читатели тянулись к поэтам, твердили их стихи. Но поэты обнищали. Им нечего было дать, нечем было поделиться *. Они точно утратили ощущение вечности. Пушкинская формула — что чувства добрые я лирой пробуждал — вызывала в них усмешку, даже не всегда снисходительную. Я не

* Через десять лет после того, как я это написала, я прочла в статье Александра Блока, напечатанной в 1908 г. в № 2 «Золотого руна»: «К современной лирике подходит много незнающих и просят хлеба и получают камни». *Прим. А. Тырковой-Вильямс.*

могла не указывать в моих лекциях на эту, небывалую в русской поэзии, опустошенность. Поэты обижались.

Приготовила я лекцию «Любовь и смерть в современной поэзии». Звонкое название привлекло столько народа, что половина желающих не могли попасть в зал. Я сама с трудом пробралась через толпу, заполнившую лестницу и даже часть тротуара на Невском. Пришли и поэты узнать, что я о них скажу. Прямо передо мной, в одном из первых рядов, сидел Федор Сологуб с А. Чеботаревской. Моя оценка внутренней мертвенности его стихов так их обидела, что они среди лекции шумно поднялись и демонстративно ушли. Меня это не смутило. Я сама, как критик, как читательница, даже как общественная деятельница, была встревожена тем, что большие поэтические таланты чадят, тлеют, а не светят. Они меня обидели, а не я их. Я ведь и себя причисляю к тем, о ком А. Блок сказал, что они ждали от поэтов хлеба, а получили камень.

Я пишу не критику. Я только восстанавливаю некоторые особенности литературного быта и духа того времени, ту обстановку, которая окружала поэтов, отражалась в их личных свойствах. Личность художника — тоже часть его творчества. Работая над биографией Пушкина, я особенно явственно это поняла, вдумалась в эту связанность. Мои наблюдения над поэтами, какими я их видела, сплетаются с их стихами. А видела я всех крупных поэтов той эпохи. У меня в доме бывали А. Блок, А. Ахматова, Вячеслав Иванов, Ф. Сологуб, С. Городецкий, А. Ремизов, Ю. Верховский, Б. Садовойской. Моя жизнь так сложилась, что я больше общалась с политиками, чем с поэтами. Общественная и политическая среда мне была так же близка, как деревенская стихия. С той разницей, что все деревенское было не вне меня, а во мне, было частью меня самой. Даже теперь, когда, судя по карте Волховского фронта *, которую я случайно увидела в немецкой газете, можно предполагать, что ни от Вергежской усадьбы, ни от деревни Вергежа ничего не осталось, я все-таки чувствую неразрывную свою связь с каждым деревом, с каждой тропинкой и травинкой на родных местах.

Еще до революции 1905 г. встречала я Куприна, Бунину, Максима Горького, Мережковских и немало других писателей, менее значительных и известных. Свое к ним отношение я никогда не мерила модой на них. Когда была мода на Горького, я этому массовому увлечению не поддавалась. Как человек он не

* Это писано в Гренобле под немецкой оккупацией. Случайно даже сохранилась на странице дата — 4.IX.1943 г.

Тогда немцы стояли на нашем левом берегу Волхова. На противоположном берегу стояли советские войска. При таком расположении двух воюющих армий окрестные деревни и усадьбы не могли уцелеть.
Прим. А. Тырковой-Вильямс.

казался мне привлекательным. Угловатый, костистый, некрасивый, он напоминал полотера. В детстве, когда приходили полотеры, я не спускала с них глаз. Забиралась с ногами на большую диван и наблюдала, как полотер отрывисто машет правой рукой, встряхивая в такт головой, чтобы отбросить назад падающие на лоб пряди волос. Мне казалось, что они не настоящие, что их вырезали из дерева. Что-то похожее на их деревянность, на их потряхивание головой было и у Горького, но детского любопытства он во мне уже не возбуждал. И взгляд его, исподлобья, ускользающий, мне не нравился. Точно щупальца выбросит и опять втянет. Это не помешало мне с увлечением прочесть два первых тома его рассказов. Но перечесть их мне ни разу не захотелось.

В первый раз встретила я с Горьким в самом конце XIX в. у Лиды Туган-Барановской. Горький был начинающим, но уже обратившим на себя внимание писателем. Кроме него и его приятеля, серенького марксистского публициста Неведомского², Лида позвала еще Мережковского и его жену, Зинаиду Гиппиус. Эта чета производила странное впечатление в тесной, простой, небрежно убранной квартирке Туганов³. В Зинаиде все было рассчитано на эффект, все было деланное. Точно она приготовилась выйти на сцену. Странное дело, Лида, некрасивая, небрежно причесанная, равнодушно одетая, была несравненно женственнее, чем хорошенькая поэтесса со всеми своими ухищрениями, включая вызывающий бело-розовый грим. Лицо Лиды светилось такой неотразимой, непритворной, всеобъемлющей привлекательностью. Около нее каждому становилось теплее. А от блестящей Зинаиды шли холодные сквознячки.

Зинаидой ее звали за глаза знакомые и незнакомые. Она была очень красивая. Высокая, тонкая, как юноша, гибкая. Золотые косы дважды обвивались вокруг маленькой, хорошо посаженной головы. Глаза большие, зеленые, русалочки, беспокойные и скользкие. Улыбка почти не сходила с ее лица, но это ее не красило. Казалось, вот-вот с этих ярко накрашенных тонких губ сорвется колючее, недоброе слово. Ей очень хотелось поражать, притягивать, очаровывать, покорять. В те времена, в конце XIX века, не было принято так мазаться, как это, после первой войны, начали делать женщины всех классов во всех странах мира. А Зинаида румянилась и белилась густо, откровенно, как делают это актрисы для сцены. Это придавало ее лицу вид маски, подчеркивало ее выверты, ее искусственность. И движения у нее были странные, под углом. Она не жестикулировала, не дополняла свои слова жестами, но, когда двигалась, ее длинные руки и ноги вычерчивали геометрические фигуры, не связанные с тем, что она говорила. Высоко откинув острый локоть, она поминутно подносила к близоруким глазам золотой лорнет и, прищурясь, через него рассматривала людей,

как букашек, не заботясь о том, приятно ли им это или не приятно. Одевалась она живописно, но тоже с вывертом. К Туганам пришла в длинной белой шелковой, перехваченной золотым шнурком тунике. Широкие, откиннутые назад рукава шевелились за ее спиной точно крылья.

Перед приходом Мережковских Лида, со своим обычным юмором, описала мне свой недавний визит к Мережковским. Горничная ввела Туганов в просторную, полутемную гостиную. Горела только одна свеча, да и то под темным абажуром. Кто-то брал на рояле отрывистые аккорды. Зинаида восседала посреди комнаты. Ее платье смутно белело в полумраке. Мережковский, не здороваясь с входящими гостями, предостерегающе поднял руку:

— Тише! Садитесь вот здесь. Мы создаем настроение. Будем вместе молчать...

Гости торопливо уселись, притихли, стали слушать аккорды, к которым Мережковские, муж и жена, прибавляли отрывистые слова, то ритмические, то прозаические. Так весь вечер и прошел.

— Ну а настроение создалось?

— Не знаю. Мы с Мишей с трудом удерживались от смеха. А они, может быть, и настроились. Кто их знает? Они поэты.

Лида всегда старалась найти оправдание для чужих глупостей. Но все-таки не выдержала и залилась серебристым смехом:

— Знаете, Мережковский был как шаман. Мы с Мишей до самого дома хохотали.

Шаманили Мережковские и в тот вечер, когда я их встретила у нее. Зинаида, войдя в столовую, перенесла свой стул от чайного стола, вокруг которого мы сидели, на середину комнаты и уселась так, точно с нее сейчас начнут писать портрет. Ее изысканная фигура в белом платье просилась в бальную залу, была не на месте в скромной столовой молодого экономиста, уже закладывавшего фундамент для марксизма в России. Но выглядела она очень эффектно. Ей этого и хотелось, хотелось поразить Горького, взять его приступом. Она наводила на него золотой лорнет, поворачивала свою белокурую головку в тот угол, где он мешковато уселся и молчаливо просидел весь вечер. Говорили главным образом Мережковские.

Он завел со своей женой своеобразный диалог, бросал туманные слова. Она откликалась на них междометиями. Выходило достаточно нелепо. Мережковский сидел за чайным столом, поодаль от жены и, прихлебывая чай, помогал ей приманить Горького, в котором они чуяли восходящую звезду. Зинаида явно и решительно шла на приступ. Вопросы Горькому задавала в упор:

— Вы что обо мне думаете?

Горький пробурчал что-то бессвязное, а Мережковский, голосом чревоушателя, пояснил:

— Зинаиду Николаевну понять не легко. У моей жены душа темная. У моей жены душа чугунная.

Зинаида, закинув ногу на ногу, наклоняла свое гибкое тело в сторону Горького и, не сводя с него лорнета, светлым, четким голоском вторила своему мужу:

— Да, у меня душа темная. Да, у меня душа чугунная.

На ярко-красных губах, казавшихся еще краснее от густо набеленного лица, змеилась ненадежная улыбка.

Когда мы с Горьким вышли на улицу, Неведомский спросил его:

— Ну как, Алексей Максимович, понравились вам Мережковские? Им очень хотелось вам понравиться...

Горький хмуро отмахнулся:

— Тоже, выдумаете. На что я им? А впрочем, все это ни к чему. Так, штукаество одно...

Они проводили меня до дому, но больше мы из Горького так ничего и не вытянули. Как художник, он не мог не отметить забавного контраста между собой и Зинаидой. После этого вечера Мережковских я встречала только на больших собраниях. Немного ближе могла к ним присмотреться уже в эмиграции, где они как будто опростились, стали меньше актерствовать.

Горького я видела в Ялте, когда туда приезжал Художественный театр. У меня он никогда не бывал. Видела я его раз в толпе, где на него неумеренно бросились поклонницы. Это было в Петербурге. Литературный фонд давал в зале Кредитного общества вечер. Зал был, как всегда, переполнен. И вдруг, когда кто-то из поэтов начал с эстрады читать свои стихи, по рядам побежал шепот, зрители привстали, начали оборачиваться. В этом шуме голос чтеца потонул. Я оглянулась, чтобы понять, в чем дело, и увидела Горького. В длинной толстовке, сутулясь, пробирался он к своему месту, но не успел дойти до середины зала, как половина присутствующих вскочила и, повернувшись спиной к эстраде, начала аплодировать и вопить:

— Горький! Горький!

Он искал глазами свободное место, чтобы скорее нырнуть в ряды, скрыться.

Все стулья были заняты. Он торопливо шел дальше. Рукоплескания и беспорядок росли. Главный распорядитель вечера, все тот же милейший Н. Ф. Анненский⁴, бессменный председатель литературных банкетов и неутомимый церемониймейстер многих интеллигентских затей, вышел на эстраду и шуточками, остротами навел порядок. Публика нехотя заняла места, но слушать певцов и чтецов ей уже не очень хотелось. Все выворачивали себе шею, стараясь рассмотреть Горького. А он, как

только прозвонили перерыв, бегом бросился в артистическую. Тут уже пошло настоящее безобразие. Толпа пыталась ворваться в артистическую, но распорядители успели захлопнуть двери. Опять раздались крики:

— Горького! Горького! Выйдите к нам! Скажите нам что-нибудь!

Большинство осаждающих были женщины. Они ломались в двери, барабанили кулаками, что-то вопили. У запертой двери, как неумолимый страж, стоял Н. Ф. Анненский. Артистическая превратилась в крепость. Кто-то спросил:

— Алексей Максимыч, может быть, лучше вам к ним выйти?

Горький сердито отмахнулся:

— К этим диким зверям? Зачем? Пусть вопят, если им это нравится.

На его костлявом лице видно было отвращение. Ясно было, что истерическая слава его мало тешит. Должно быть, такое же было у него лицо, когда он, на другом вечере, бросил такой же беснующейся толпе:

— Что вы за мной бегаете? Что я, балерина или утопленница?

В последний раз встретила я Горького во время войны 1914—1918 гг. При царском режиме в России существовал, сначала тайно, потом полуявно, политический Красный Крест, для помощи революционерам, попавшим в тюрьму или в ссылку. Члены этой организации устроили в ее пользу лекцию на квартире моих близких знакомых, С. Э. и В. Я. Евдокимовых. Он молодым офицером еще в 60-х годах попал в крепость как народник. Потом из революционера превратился в крупного и удачливого промышленного деятеля, стал управлять заводами у кого-то из наших знатных богачей, кажется у Шувалова. Евдокимовы были люди на редкость отзывчивые, добрые, просвещенные. В их просторной квартире было уютно, несмотря на то что все шесть комнат были заставлены слишком редкими, драгоценными вещами. Это был настоящий музей. В кабинете портьеры были сделаны из штофных сарафанов придворных дам Елизаветы Петровны и Екатерины II. В гостиной стены были обтянуты алым шелком, когда-то украшавшим стены в спальне одного из пап. Каждый стул, каждая безделка были связаны с каким-нибудь историческим местом или лицом. У каждой вещи был свой оправдательный документ, своя генеалогия. В углу гостиной стояла арфа, когда-то принадлежавшая несчастной любимице Марии Антуанетты, графине де Ламбаль. В столовой, под окном, на большом столе, стоял художественный, белый с золотыми лебедями, сервиз, который декабрист Ивашев заказал к своей свадьбе. Свадьбу справить он не успел, так как попал в Сибирь.

Золотые лебеди изо дня в день украшали стол капиталиста, который не утратил молодого сочувствия ко всему оппозиционному. Евдокимовы были кадеты, но и революционерам они не отказывали в поддержке. В их квартире, застрахованной в два миллиона рублей, иногда устраивались лекции в пользу тех, кто всеми способами старался взрывать тот буржуазный мир, к которому сами Евдокимовы принадлежали. Так буржуи добродушно и простодушно рыли себе яму.

На лекцию в пользу Красного Креста пришел и Горький. Войдя в столовую, он остановился в изумлении и сказал:

— Фарфоры-то какие!

В это время он уже хорошо зарабатывал, что мог позволять себе разные прихоти, вплоть до собирания дорогого фарфора.

Меня рассмешило это удареие на первом слогe. Но хозяйка, которая свои редкости выискивала и собирала, почувствовала в нем любителя и обратила внимание Горького на синие голландские старинные тарелки, развешанные по стенам. Горький обошел всю комнату и внимательно их рассмотрел.

Прошло еще несколько лет. Революция разорила всю Россию, включая Евдокимовых. Они стали гонимым классом. Горький занял место в рядах советской аристократии. Он состоял в учреждении, которое охраняло памятники искусства. Евдокимовской коллекции фарфоров он не забыл. Мне их родственники-эмигранты об этом рассказали. В 1921—1922 гг. в Ленинграде свирепствовал голод. Евдокимовы в своей роскошной, взятой каким-то музеем на учет квартире пропадали от холода и голода. Горький пришел к ним проверить, в сохранности ли их музей. Мельком сказал, что может разрешить им продать их голландские тарелки и даже согласился их сам купить. Отказать такому покупателю было нельзя, хотя цену он назначил ничтожную. На эти деньги Евдокимовы купили несколько поленьев дров и немного картошки.

Так этот певец революции и пролетариата за гроши приобрел от голодных стариков приглянувшиеся ему фарфоры.

Из писателей-реалистов мне был больше всего по душе Александр Иванович Куприн. Отставной пехотный офицер, попав из провинциальной глуши в столицу, он быстро освоился с новой для него обстановкой петербургских издательств, редакций, литературных кружков. Его первые рассказы имели большой успех, но голова у него не закружилась. У него было много юмора, необходимая для беллетриста, острая пронизательность и понимание людей. К человеческому материалу он относился с насмешливой снисходительностью, к героям своим подходил мягко, по-дружески. Так делали и его учителя, Пушкин, отчасти Толстой, но далеко не все современные ему писатели.

Куприна я встречала у А. А. Давыдовой. Как издательница,

она с ним носилась, его заласкивала, старалась прикрепить его к своему «Миру Божьему». Такой свежий талант мог стать большой приманкой для подписчиков. Но привязать на веревочку общительного, независимого Куприна было нелегко. Ему надо было всех и все повидать, всюду побывать. Он был полон любопытства к вещам, к происшестввиям, к людям, к зверям. Цирк любил больше, чем театр. Знал по имени наездников, клоунов, лошадей, ученых собак, гусей. Бражничал с цирковыми артистами еще охотнее, чем с писателями. Бражничать он был великий мастер, и в Петербурге у него довольно скоро завелись излюбленные трактиры, где он был почетным гостем. Окруженный свитой из малоизвестных, но многошумных маленьких журналистов и писателей, он часто появлялся в «Вене» и еще в каком-то кабаке на Владимирском, который, кажется, назывался «Гамбринус». Этому «Гамбринусу» Куприн создал большую славу. Туда ходили нарочно, чтобы посмотреть на автора «Поединка», окруженного прихлебателями и поклонниками, которых он щедро кормил, еще щедрее поил. Пил он гораздо больше, чем следовало. Ему и из полка пришлось выйти, потому что он, под пьяную руку, наскандалил в еврейском городишке, Проскурове, где стоял его полк. Но когда я, сразу после его появления в Петербурге, встретила его у Давыдовых, Куприн еще в этих кругах пьяным не показывался. Собеседник он был остроумный и заразительно веселый. Мы с ним усаживались в уголке гостиной, и Куприн немного бормочущим голосом рассказывал меткие, забавные, совершенно фантастические небывальщины про гостей. В его болтовне не было ядовитых сплетнических намеков, которые придают зубоскальству неприятный оттенок. Он не пересуживал того, что они думают, что им приписывают, а изображал их такими, какими они ему видятся. Выходило преуморительно. Куприн, несмотря на свой разгул, был джентльмен и людей зря не чернил. Если кто-нибудь был ему не по душе, он старался с ним не разговаривать, становился вежлив до дерзости. Говорят, он мог быть очень груб, но я его таким не видала.

Куприн чутко угадывал чужие мысли и настроения, умел заметить каждое облачко, пробежавшее по лицу собеседника. С ним можно было говорить полусловами, улыбкой, взглядом. Он не ораторствовал, не красовался, не собирал вокруг себя слушателей и слушательниц. Он любил тихо болтать в углу с двумя, тремя собеседниками, которые были ему по душе. Такой третьей часто была Муся Давыдова. Она была лет на десять моложе своей недавно умершей названной сестры, Лиды Туган-Барановской. Муся была подкидыш. Ее новорожденным младенцем принесли к дверям Давыдовых. Возможно, что она была его дочерью. Лида ее очень любила, и они были очень близки. Со смертью Лиды осиротевшая Александра Аркадьевна болезненно привязалась к Мусе.

Муся была странная девушка. Очень хорошенькая. Стройная, с правильным лицом, с нежной кожей, с темными волосами и темными, насмешливыми глазами. Ее портил смех, недобрый, немолодой. Точно смехом своим она говорила:

— Какие вы все дураки, и до чего вы все мне надоели...

С раннего детства видела Муся вокруг себя знаменитостей, музыкантов, певцов, артистов, писателей, чьи имена повторялись с восхищением, иногда с искренним почтением. В Мусе все эти знаменитости дразнили беса насмешки. Она была очень неглупая девушка, но не было в ней ни крупинки энтузиазма ни к идеям, ни к людям. Беспощадно отмечала она в них все дурное, глупое, ничтожное и очень зло всех и все высмеивала. В ней не было злости, не было желания делать людям что-нибудь неприятное, дурное. Но сердце у нее было не молодое, подсушенное. Возможно, что на нее с детства шли холодные сквозняки от женщины, которую она звала мамой. Все же Муся была очень общительная, у нее было много приятельниц, приятелей, поклонников. Ей нравилось, когда за ней ухаживали. Кокетничать она была мастерица. Но мне думается, что любила она только Лиду, смерть которой и для нее была большим горем. Ко мне Муся относилась теплее, чем ко многим, точно унаследовала от Лиды часть ее привязанности ко мне.

И вот в эту Мусю, которая была лет на десять моложе его, Куприн, впечатлительный, сердечный, горячий, влюбился без памяти. Ее это забавляло. Всякий новый поклонник теплит девичье самолюбие, а тут автор «Поединка», за которым все бегают, остроумный, веселый, может зубоскалить еще почище, чем сама Муся.

Куприн был среднего роста, широкоплечий, ловкий, хороший гимнаст. А лицо было у него некрасивое, простецкое, армейское. Маленькая бородка неопределенного цвета, широкие скулы. Глаза живые, но небольшие, глубоко сидевшие. Нос ему приплюснули в боксе, что его не красило. Не внешностью мог он приманить воображение избалованной молодой девушки.

Странная, неладная, вопросительная улыбка была на пригемом лице Муси, когда она сказала мне:

— Знаешь, Дина, маме хочется, чтобы я вышла замуж за Куприна.

Я постаралась понять, теплится ли что-нибудь за этой усмешкой, или только все тот же холодок. Но Мусю разгадать было нелегко.

— А вам-то самой хочется? Ведь не Александре Аркадьевне, а вам Куприн делает предложение. Вам за него замуж выходить.

Глядя куда-то мимо меня, Муся ответила с непривычной серьезностью:

— Не знаю. Он очень талантливый и добрый. Надо же когда-нибудь замуж выйти.

— Муся, не выходите зря. Не надо. Тем более что он в вас по-настоящему влюблен. А что вы ему дадите?

Она пожала плечами. Потом вдруг засмеялась:

— Знаете, что мне мама сказала? Выходи за Куприна. У нас будет ребеночек, может быть, похож на Лиду. А потом, если Куприн тебе надоест, можно его сплавить, а ребеночек у нас останется.

Я знала, как тоскует Александра Аркадьевна без Лиды, какое опустошение произвела в ее жизни смерть дочери. Но все-таки я была поражена, что она может цепляться за такую фантастику. Правда, это уже была не прежняя энергичная Александра Аркадьевна. Она стала полуинвалидом. Ее мучила астма, которая скоро и свела ее в могилу. Между двумя тяжелыми припадками астмы она успела-таки обвенчать Мусю с Куприным. Хорошего из этого не вышло. Они друг другу не подходили. Даже толстокожий муж может разобрать, любит его жена или нет. А Куприн был художник, наблюдательный и тонкий. Влечение к Мусе прошло не сразу, но на смену нежности пришла борьба. Куприн стал пить, вернее, снова стал пить. Он и в полку трезвостью не отличался. Под конец своей жизни с Мусей он совсем опустился.

Я как-то заехала к Куприным попросить его читать на литературном вечере, который я устраивала. Мы с ним были друзьями, и мои просьбы он обычно исполнял. Войдя вечером в знакомую гостиную «Мира Божьего», я нашла там несколько человек гостей. Насколько помню, все были писатели. Муся поцеловала меня и с кривой усмешкой, точно предупреждая, показала глазами на мужа.

Куприн сидел в кресле в совершенно растерзанном виде. Пиджак и жилет были расстегнуты, распахнуты. Воротника не было. Волосы всклокочены. Лицо красное, припухшее. Взгляд мутный. У меня сердце упало. Мне было за Александра Ивановича и больно, и стыдно. Я его любила.

Он не встал мне навстречу, хотя узнал меня. Сделал бессмысленный жест, попытался пробормотать бессвязное приветствие. Это было уже во времена думские, когда общественная жизнь раздвинулась. Меня в Петербурге видали на митингах, читали в газетах мои статьи. Мои повести и романы печатались в толстых журналах. Мое имя уже было внесено в ту табличку, куда общественное мнение вписывает тех, кто чем бы то ни было привлек его внимание. Собутыльники Куприна нашли, что выгоднее убрать его с моих глаз долой. Это было нелегко. Он сопротивлялся, пытался сказать мне что-нибудь приятное. Всеми правдами и неправдами его подняли с кресла и увели в спальню. Я поспешила уйти. Просить его читать было бес-

полезно. Жалко мне было бедную Мусю, хотя она упорно старалась улыбаться.

У них уже был ребенок, о котором мечтала покойная Александра Аркадьевна. Только и здесь вышло не так, как ей хотелось. Девочка ни внешне, ни тем более внутренним складом не походила на Лиду. Чем больше она подрастала, тем больше сказывалось в ней что-то жестокое, беспощадное. Мать свою она мучила упорно и умело. Не было ли это бессознательной мстостью за отца? Хотя и с ним она была неприветлива.

Недолго прожили Куприны вместе. Муся вышла второй раз замуж. На этот раз за Н. И. Иорданского, того самого, который, будучи сотрудником ленинской «Искры», приезжал в Штутгарт писать для Струве статьи в либеральном «Освобождении», а потом, вернувшись в Женеву, писал резкие полемические статьи против Струве. В русской журналистике было не принято так перебарщивать, Иорданский был человек и ненадежный, и несимпатичный. Я никогда не могла понять, почему Муся сдалась на его настойчивые домогательства и вышла за него? Приманчивого в некрасивом Иорданском было мало. Сама Муся как-то сказала мне со своей невеселой, кривой усмешкой:

— Не везет мне, Дина. Первый муж был пьяница. Второй социал-демократ. Не знаю, что хуже.

После большевистской революции Иорданский стал советским дипломатом. Несколько лет был послом в Риме. Муся, наверно, хорошо разыгрывала роль амбасадриссы. У нее были хорошие манеры, она хорошо знала языки. Она умела войти в гостиную. Ее обходительность могла скрасить неотесанность коммунистического амбасадора.

Женился и Куприн второй раз. Но он устроил это умнее, чем Муся. Его вторая жена была совсем молоденькая свояченица и воспитанница Мамина-Сибиряка. Она была всем существом своим предана Александру Ивановичу. Взяла его таким, каким он был, даже таким, каким я увидела его в гостини «Мира Божьего». Она почуяла, что в этом внешне опустившемся человеке живет не только большой и искренний талант, но и хорошее, искреннее сердце. Понемногу эта малозаметная молодая женщина с пригожим, чистым личиком, в которой не было ни тени Мусиного блеска и утонченности, стала для него самым близким на свете человеком, его пестуньей и целительницей. Совсем не пить он уже не мог, но от сплошного, дикого пьянства она его отвела. Куприн мог опять писать, стал жить по-человечески. Они были очень счастливы. Уже в эмиграции, в Париже, он не раз говорил мне, как много жена внесла в его жизнь. Но с годами его здоровье расшаталось. Пришла расплата за прежние кутежи. За ним, больным, жена ухаживала самоотверженно, как за ребенком.

Потом она увезла его обратно в Россию. Я не знаю, как это случилось, что ее на это навело, кто ее уговорил. Может быть, она не выдержала тяжелых условий беженской жизни с больным мужем на руках. И просто стосковалась на чужбине. Беспомощный, жалкий, наполовину разбитый параличом, он, говорят, совсем не хотел ехать под власть ненавистных ему большевиков. Советское правительство обещало вернуть Куприним дом в Гатчине, который они оба очень любили... И пенсию ему обещали. Оба обещания они сдержали. Как Куприн себя там чувствовал, не знаю. Оказала ли ему преданная жена последнюю услугу, или перестаралась и отравила ему последние годы жизни?

Другой большой прозаик, с которым я и мой муж встречались гораздо чаще, чем с Куприним, и с которым больше сблизились, был Алексей Михайлович Ремизов. В первый раз увидела я его в конце 1905 г., вскоре после моего возвращения из эмиграции в Петербург. Я наняла у Д. Е. Жуковского половину квартиры, в которой помещалась редакция журнала «Вопросы жизни». Я еще не совсем разобралась в новых людях и литературных кружках, которые за полтора года моего пребывания в эмиграции расплодились, как грибы. Жуковский, сдавая мне квартиру, с неуверенным смешком предупредил меня:

— У нас Ремизов — секретарь редакции. Он к вам войдет. Вы не пугайтесь.

Я не обратила внимания на его слова. Утром раздалось осторожное постукиванье в дверь моей гостиной.

— Войдите.

Дверь медленно приотворилась, и в нее тоже медленно, точно боясь наступить на что-то хрупкое, не вошел, а втиснулся невысокий человек. Он сутулился, втягивая голову в широкие плечи, на которых висел толстый байковый шарф. Из-под круглых очков темные глаза смотрели на меня сбоку, но пристально. На широком, скуластом, азиатском лице ползла не улыбка, только усмешка, приподымавшая углы плотно сжатого, не по росту большого рта.

Я стояла в другом конце комнаты, у окна. Мой странный гость пошел ко мне не прямо через комнату, а стал неторопливо, точно крадучись, пробираться кругом, вдоль стен. Я не могла понять зачем. Позже, присматриваясь к Ремизову, я поняла, что его необычные ухватки сплетались из целого ряда часто противоречивых соображений, настроений, толчков, шуток. Он мистификатор, любит одурачить человека, заставляя поверить в какую-нибудь чепуху. Быть может, ему вздумалось разыграть передо мной робкого, молодого писателя, который дерзает только бочком входить в гостиную эмигрантки? Тогда это еще было почетное звание. Может быть, хотелось посмодеть, не стану ли я пыжиться, важничать. Вот будет забавно.

Этого удовольствия я ему не доставила. Мне важничать было решительно нечем. Я это твердо знала, и Ремизов это сразу понял. Его разговор, такой же своеобразный, как его наружность, его стиль, что-то в его голосе мне понравилось.

Ремизов москвич, с очень чистым русским говором, подлинность которого он закрепил, изучая фольклор, апокрифы, местные говоры, песни, поговорки. Он плавал, нырял в народных сказках, добывая со дна то забытое словечко, которым любил ошарашивать читателя. В разговоре он таких местных слов не употребляет, но и затасканных иностранных выражений, которые уродуют письменный и устный язык городской интеллигенции, от него не услышишь. Он и говорит и пишет по-русски. Ритм у него, как у сказочника, а ведь расстановка слов, падение и повышение ударений тоже определяют народность речи. Когда Ремизов читает себя вслух, невольно следуешь за его музыкой, заражаешься его складом. Чтец он замечательный.

За последнее время русский язык так бесстыдно, глупо-бездарно коверкают, что пора создать Сенат Блюстителей Русского Языка и первоприсутствующим сенатором назначить Алексея Михайловича Ремизова.

Как писатель Ремизов шел и продолжает идти тяжелым путем. Он одержим художественной гордыней и никогда ни с чьим мнением не считался. Его чудачества, житейские и литературные, сочетаются с большим, трезвым и ясным умом, с редкой верностью суждений. Отвесные тропинки, по которым он, чаще всего с большим усилием, тащит свои «узлы и закруты», не ведут к легким успехам, к широкой популярности. Он это отлично знает. Но в нем есть непреклонное, беспощадное к самому себе упорство, которое им владеет, не допускает снисхождения и побряжек моде, ко вкусам толпы и критиков, которые порой разбираются хуже, чем толпа.

Ремизов самолюбив. Успех любит. И жизнь свою, в особенности жизнь своей жены, хотел бы обставить как можно лучше. На это нужны средства. У Ремизовых никогда никаких средств не было, кроме его заработка, сравнительно ничтожного. Случалось, что и она зарабатывала. Ее специальностью были старинные грамоты. На этом денег много не наживешь. Их всегда было у них мало. Его талант был признан немногими, а деньги писателю приносит только широкая популярность. Да и то не всегда. Он никогда не писал, думая только о гонораре, как это делали многие писатели, даровитые и бездарные. Он мог бы хорошо зарабатывать, если бы писал в газетах фельетоны, короткие рассказы, критические статьи и заметки, а не сказочки, как «Посолонь». Но Ремизов, весь в долгу, без гроша, сидел, закутавшись в платок, за своим письменным столом и не спеша выводил своим полууставом одну строку за другой, один росчерк за другим. Ничто не могло его заставить отложить сказку

и написать хотя бы отзыв на чужие стихи. Гонорар был бы не Бог знает какой, но зато быстрый. Критик он несравненно более образованный, понимающий, вдумчивый, чем большинство профессиональных критиков, из которых многие сурово расправляются с чужими романами и повестями, потому что сами не способны что бы то ни было сочинить. Ремизов одержим своей формой творчества. Иначе писать он не хочет. Может быть, и не может.

Я пишу, а рядом с ним мне видится его жена, Серафима Павловна *. Высокая, полная, белотелая и белолицая, с пышными белокурыми волосами и широкими голубыми глазами, она плыла через сутолоку и толкотню литературного Петербурга, точно боярыня допетровской Руси. Серафима Павловна была из старинного литовского рода Довгелло, родственного Ягеллонам. У них в Черниговской губернии был замок. Настоящий замок, старинный, с высокими каменными стенами, с башнями, напоминавшими о тех далеких временах, когда южно-русские степи были под литовскими князьями. В наших русских вотчинах таких замков не строили. Наш уютный вергежский дом на замок совсем не походил, хотя усадьбой этой Тырковы владели тоже столетиями.

Когда Серафима Павловна вышла замуж за Алексея Михайловича и привезла его в родовой замок, вся семья сразу шарахнулась от такого зятя. Маленький, почти горбатый, ни на кого не похож, университета не кончил, состояния никакого, пишет сказки. И притом из купцов. Где она такого выкопала?

Выкопала она его в Сольвычегодске, в ссылке. Серафима Павловна училась на курсах в Москве и там была арестована по с.-р. делу. Ремизов также был арестован и выслан этапным порядком в те же места. Он об этом сам рассказал в красочных автобиографических заметках, печатавшихся в «Новом русском слове» в 1953 г. Ровно за 50 лет перед этим в Ярославле, где я была членом редакции местной газеты «Северный край», я в первый раз услышала его имя, увидела не его самого, только его причудливый почерк. Он присылал нам в редакцию свои белые стихи. Мои товарищи по редакции были в политике передовыми людьми, а в литературе упрямыми староверами. Стихи неизвестного поэта я брала под свою защиту, чаще всего безуспешно.

Ремизов в своих заметках сам рассказал нам, как он и его приятели чудили и куролесили в ссылке. Он и жену себе подобрал не такую, как все. Оба они чудили, каждый по-своему. Только его чудачества больше бросались в глаза, больше привлекали внимания, чем ее. В ней не было его подчеркнутой

* Это было писано, когда Серафима Павловна еще была жива.
Прим. А. Тырковой-Вильямс.

угловатости. Она вдоль стенки не пробиралась. Она входила в комнату уверенно, плавно, смотрела открыто, улыбочиво, с людьми обращалась ласково. Но характер у нее был кипучий. Вдруг рассердится, вспылит, прижмет белые руки к пышной, как у кормилицы, груди и такого сразу наговорит, не дай Бог. Вспылить она могла по разнообразным поводам: из-за литературного расхождения, из-за какого-нибудь поступка, показавшегося ей неблагоприятным, из-за того, что к Алексею Михайловичу или к ней проявили мало почтения. Тогда на сцену выступали предки Серафимы Павловны, знатный род Довгелло. Раздавался телефонный звонок, слышался низкий, четкий голос Ремизова, который вызывал моего мужа:

— Гарольд Васильевич дома? Нам необходимо с ним переговорить. По важному делу. Посоветоваться. Срочно. Он поймет. Он англичанин. Дома? Сейчас приедем.

Ремизовы были домоседы. Раз решились вылезти из своей норы, значит, их что-то взбудоражило. Мы ждали их с любопытством, но без волнения. Они оба Вильямса не только любили, но почитали, всецело доверяли его суждению, его такту, его нравственному чутью. И были в этом правы. Немалое значение придавали они и тому, что он англичанин.

Ремизовы появлялись и, перебивая друг друга, начинали рассказывать путаную, нелепую историю о каких-то недоразумениях, ссорах, обидах, чаще всего пустяковых или мнимых. Алексей Михайлович, как умный человек, отлично разбирал, что существенно, что нет. Серафима Павловна тоже была женщина неглупая, образованная, начитанная, хорошая специалистка по палеографии. Она понимала людей, еще лучше понимала литературу. Но иногда вокруг них обоих поднимались, крутились маленькие пыльные смерчи, застилали им мозги. Серафима Павловна рассказывала сбивчиво, бестолково, всплескивая руками, поправляя сползавшую с широких круглых плеч цветистую шаль.

Алексей Михайлович, стараясь ей помочь, рассказывал по-своему, но тоже не очень вразумительно, хотя вообще был отличный рассказчик. Я пыталась поглубже заглянуть в его острые глаза, понять, мелькает ли там бес издевки, редко оставлявший его в покое, или и он всю эту чепуху принимает всерьез? Проникновенным голосом он спрашивал:

— Гарольд Васильевич, вы англичанин. Англичане джентльмены. Они знают, что надо делать и чего не надо. Вот мы с Серафимой Павловной и пришли вас спросить, как нам надо поступить?

Ясные глаза Вильямса ласково смотрели на них. Возраста он был одного с Ремизовым, но по житейскому опыту и такту много старше его. Первый его совет был всегда тот же:

— Может быть, лучше всего не обращать внимания? Стоит ли?

Тут Серафима Павловна начинала ходить ходуном, быстро перебирала крупные прозрачные зерна янтарей, низко спускавшихся на грудь. Из ее широких глаз сыпались искры:

— Но как же так, Гарольд Васильевич? Я не могу. Ведь он мне сказал... Ведь я ему так и заявила... Ведь это вопрос чести... Нельзя стерпеть... Конечно, к мировому я не пойду, но, может быть, третейский суд?

Алексей Михайлович бросал на нее быстрый боковой взгляд и, понижая голос, точно сообщая государственную тайну, выразительно пояснял:

— Гарольд Васильевич, если бы так со мной, мне было бы все равно. Но Серафима Павловна, она Довгелло. Она не может позволить... Она не привыкла... Вы понимаете, она из дома Ягеллонов...

Это Ремизов произносил с расстановкой, с подчеркиванием. Точно эти когда-то внушительные, владетельные имена он выписывал перед нами своим самым крупным, самым черным полуустановом. А Серафима Павловна, стесняясь своей знатности, тихо подтверждала:

— Это правда. Я из Ягеллонов...

Вильямсу сословные чувства были совершенно чужды. Он всюду был равный между равными. Он едва удерживался от смеха, но все-таки находил для Ремизовых какой-то исход, умел их успокоить, умиротворить ошетинившееся самолюбие этих двух больших ребят. Нет. Ребенком была только она. Алексей Михайлович, может быть, даже в детстве не был ребенком. Горькое было у него начало жизни. Его тесное детство прошло в Замоскворечье на задворках просторных купеческих хором. Он не знал укрепляющих радостей деревенского раздолья, среди которого выросла его жена. Деревенские люди дольше сохраняют ребяческие свойства — непосредственность, открытость, доверчивый подход к людям. В Серафиме Павловне все это было, и Ремизову в ней все было мило. Она освежала его, вносила в их петербургскую жизнь давние обряды, традиции. Он их искал в книгах, фольклорных и исторических, она впитала их в себя с детства в старом родовом гнезде. В их часто менявшихся городских квартирках праздники Рождества и Пасхи справлялись с бытовыми подробностями, как на ее родной Украине. Рождество торжественнее, чем Пасха. В Сочельник на стол, под скатерть, клали сено, ели кутью и взвар, хотя вряд ли постились до звезды. Потом зажигали елку. Тут уже Алексей Михайлович вносил свою мелодию. В елке принимали участие не только его зверюшки, но и его чертенята, целые роты. Они висели в его кабинете на веревочках, протянутых от стен к центральной висячей электрической лампе. Кого тут только не было. Зайчата и мышки разного роста и происхождения, дареные, купленные, вырезанные из бумаги самим Ремизо-

вым. Были собачата, утята, лягушата, змеи, птички, обезьяны, целый зверинец. А между ними толпились чертенята всех видов и цветов. Черты веселые, черты страшные, черты напуганные, черты злоющие, бесенята растерянные и ядовитые, бесенята лукавые, с издевкой, норотившие подвести, поддеть, если не погубить. Среди них Ремизов, сказочник и выдумщик, бродил, как колдун, повелитель гадов и бесов. Он и прическу себе устроил с двумя вихрами, похожими на рожки. Не то козел, не то кто-нибудь похуже.

Игрушки свои он любит. Среди них живет по-своему. Они помогают ему писать всякую небывальщину про таких же, как они, мохнатых, рогатых, хвостатых, про зверье и бесовщину, про все видимое и невидимое, что живет и копошится около человека. Ремизов пишет о них с нежностью, общается с ними, как с себе подобными. Людей он жалеет. Зверюшками и чертенятами утешается. Свои игрушки гостям он представляет, как чадолюбивый дедушка представляет своих внучат. Когда очередь доходит до чертенят, Ремизов ухмыляется широко, лукаво и как-то особенно фыркает, радуясь, что около него ютятся такие забавники, озорники. Я никогда не могла понять, что это, только мистификация? Или он так сжился со своими уродцами, они так владеют его воображением, что он уже сам сбился, где всамделишная бесовщина, а где его собственное пересмешничество?

Ремизов не раз говорил, что верит в черта, в живого черта. И тут не знаю, всерьез он это говорит или шутя? Страх перед дьяволом, какой был у Мережковского, которым мучился Гоголь, у Ремизова я никогда не замечала. Если и был в нем страх Паскаля перед «вечным безмолвием бесконечных пространств», то с нами он им никогда не делился, хотя с Вильямсом вел задушевные беседы, говорил о самых сложных проблемах. Пожалуй, говорили они больше о языковедении и этнографии, чем о религии. Насколько помню, Ремизов в России в церковь не ходил. А Серафима Павловна ходила. В эмиграции, в Париже, в соборе на рю Дарю, иногда рядом с ней, за колоннами, появлялась и сутулая спина Алексея Михайловича.

Среди петербургских романистов и поэтов Ремизов занимал особое место. Бывал в «башне», бывал и в других кружках, но ни к одному из них нельзя было его приписать. И отдельного кружка вокруг себя не собрал, хотя почитателей у него было немало. Никто не мог считать его своим — ни Мережковский, ни Вячеслав Иванов, ни, позже, Федор Сологуб. Но с ним все они считались, прислушивались к его оценкам, справедливым и честным. В своих суждениях о литературе он был свободен от личного пристрастия или личной неприязни. Это не часто бывает. Для Ремизова самое существование в жизни — это слово. Когда он говорит о словесности, он перестает чудачить.

Ремизов тонко разбирается в людях, видит их слабости, страсти, пороки. Но в нем неожиданная для такого острого, насмешливого ума снисходительность к ним. Он любит людей, часто повторяет снисходительную формулу — обвиновать никого нельзя. В нем нет ни тени карающего негодования сатирика или юродивого. Только снисходительное и горькое признание ничтожества людского. Человеческая комедия его забавляет как наблюдателя, шевелит его любопытство. Ему нравится, позвякивая бубенцами, дурачить всех, важных и маленьких, незаметных и именитых, дураков и умников. Особенно именитых глупцов.

Вглядываясь в причудливый характер Ремизова, я понимаю значение и положение придворного шута при средневековом короле. Шут должен быть умнее своего повелителя и уж конечно умнее его придворных. Шут должен быть тонким психологом, сердцеведом. В «Пляшущем Демоне» Ремизов рассказывает, как в одном из своих прежних воплощений он был скоморохом, вертелся кругом людей, издевался над ними. И жалел их. Ремизов и в нынешнем своем воплощении их жалеет.

Через писательскую толпу он проходит, как мог бы проходить через толпу придворных, с молчаливой усмешкой, которая идет к его странному, угловатому и привлекательному облику.